

Немногим позже, когда Тихонин будет объявлен в розыск, те из нас, с кем сочтет нужным говорить полиция двух стран, сильно разойдутся в описании его примет, но все мы, не сговариваясь, отметим, что седина у него — *медная*. С въедливым недоумением полицейские чины Турции и России будут допытываться, что же имеется в виду, ведь медно-рыжий цвет волос не может означать седину — или же речь идет о ее зеленоватом оттенке, свойственном старой меди? Эта, с позволения сказать, версия нас всех разозлит: зеленоватая седина — это же гадость, треш, уродство, ее даже представить себе тошно, а Тихонин — он собой хорош, и медь его седины хороша. Полицейским останется лишь гадать о цвете его волос, не передаваемом даже цифровыми фотографиями в докумен-

тах — на них на всех волосы его темны и цвета неопределенного...

Так вскоре и будет; пока же Тихонин, немолодой мужчина с медной, иначе и не скажешь, сединой сидит нога на ногу в пластиковом кресле перед выходом из зала выдачи багажа в терминале прилетов нового стамбульского аэропорта. Навстречу ему раз за разом выходят, с громом выкатывая свой багаж, пассажиры римского, московского, бакинського, софийского и белградского прибывших рейсов — самолет из Чикаго, в ожидании которого Тихонин третий час сидит в жестком кресле, упрямо задерживается... Время от времени Тихонин встает, идет к бубличной, пьет кофе. Привычно подчиняясь окрику сотрудника службы безопасности аэропорта, натягивает на нос противовирусную тряпочку; минуту позадыхавшись, столь же привычно сдвигает ее с лица на горло и возвращается в кресло...

Три часа прошло. Навстречу ему вываливается, гремя колесиками чемоданов, небольшая толпа пассажиров; Тихонин слышит английскую речь и испуганно встает. На нетвердых и, как он думает, затекших ногах идет навстречу толпе и видит в ней Марию.

Трех часов тревожного ожидания ему хватило, чтобы перебрать в воображении все воз-

возможные варианты того, как должна выглядеть Мария после сорокалетней разлуки, и выбрать из них самый предпочтительный. Воображение Тихонина не было мечтательным, но и никогда не рисовало страшного: его питал один лишь здравый смысл, и потому Тихонин не был удивлен, увидев Марию именно такой, какой вообразил себе увидеть: коротко подстриженной светлой шатенкой, полноватой, но не чуждой спорту, как это принято у американок ее круга; с лицом изменившимся, но прекрасным, как и прежде, и узнаваемым благодаря тактичному вмешательству косметолога и, совсем чуть-чуть, пластического хирурга. Разрез глаз, из-за которого в них навсегда застыло испуганное удивление, был прежним, синие зрачки стали заметно шире — благодаря линзам с сильными диоптриями.

— ...Да, это я. — Произносит Мария заготовленные, как отчего-то думает Тихонин, слова. — Тебя тоже узнать трудно. За сорок лет мы просто обязаны были измениться... Что ж, здравствуй, мой Тихоня.

Он медленно касается губами ее упругой не по возрасту щеки, перехватывает ручку чемодана; тронув локоть, молча приглашает следовать за собой и бодро катит чемодан к выходу из терминала — она за ним не поспевает.

— Никогда не была в Турции, — призналась Мария после долгого молчания, когда наскучило глядеть из окон такси на холмы по обеим сторонам трассы, укутанные легким, как пар, густым и теплым дождем.

— Здесь хорошо, — ответил Тихонин, чувствуя тепло ее бедра, но не решаясь опустить ладонь на колено, — но здесь очень строго с ма-сками. Как приедем, советую надеть.

— Я учту.

Таксист обернулся:

— Are you from?

— America, — ответила Мария.

— Россия, — сказал Тихонин, и таксист развеселился: их ответы прозвучали как один.

— Куда он нас везет? — спросила Мария.

— К площади Таксим, если тебе это что-то говорит. Нам нужен «Хилтон».

Мария заскучала:

— Мы будем жить в «Хилтоне»?

— Нет, — успокоил ее Тихонин. — Там отделение «Avis», где мы возьмем машину. Я когда беру — только у них; привык. У меня там даже скидка.

— Почему не взял заранее? Забыл по привычке всё забывать? Зачем мы едем за машиной на такси?

— Не то чтобы забыл, — мягко поправил ее Тихонин, — и, может быть, привычка забы-

вать — не у меня. Но, чтобы взять мотор в аренду, нужны права, а у меня их нет... Ехал в Тузлу на своей, слишком разогнался. Оно бы ничего, здесь превышают все, но меня полиция остановила, то есть попыталась остановить... И погнались — а что им оставалось? Я думал, оторвусь, потом запутаю их в Тузле. Не запутал. Права забрали, выдали повестку в суд.

— Вот почему ты вынудил меня взять с собой права. Выходит, это я беру машину.

— И страховку, — подсказал Тихонин. — На мои деньги, разумеется.

— Но мне придется сесть за руль.

— Извини.

— Нет, Тихоня, ты не изменился... Удирать от полиции. В Турции.

— Я понимаю, тебе смешно. Вспомнила, как я лишился прав на мотоцикл — я тогда их только-только получил.

— Ну да! — Марии в самом деле было весело. — Мы удирали на твоём «Ковровце» от гаишника — или тогда их еще звали орудовцами? — и он нас легко сцапал.

— Он был на «Урале». Слишком мощный движок.

— Допустим, мощный. Но ты съехал с дороги в поле. Во вспаханное поле! Зачем ты съехал в поле?

— Думал, оторвусь.

— Он думал!.. Мы увязли и упали. Ты меня уронил. Хорошо, я ничего не повредила. Но я вся перепачкалась... Тебя лишили прав, обьвился твой отец и отобрал у тебя мотоцикл.

— Причем навсегда, — сказал Тихонин. — Говорили, он его продал.

— Сколько тебе было?

— Как и тебе.

— Шестнадцать.

— Верно... Права на мотоцикл выдавали с шестнадцати лет; не знаю, как сейчас.

— Девятый класс, все правильно. В такие годы быть дураком не стыдно... А сейчас тебе сколько?

— Я вот смотрю на тебя и чувствую: те же шестнадцать.

— Поцелуй меня, наконец, — спокойно сказала Мария.

— Приехали, «Хилтон», — обернулся таксист.

Как только они вышли из машины, дождь прекратился и над Стамбулом встало солнце.

«Через двести метров поверните направо. Потом поверните налево. Налево и направо», — женский голос русского навигатора в телефоне Тихонина звучал уверенно. Ведомый Марии

ей «Меган» разматывал путаницу улиц района Султанахмет с таким медленным, натужным и опасливым усилием, как если б по извилистой дороге поднимался к небу...

— Знаешь, что я заметила, — сказала Мария, притормозив на перекрестке и нетерпеливо поглаживая руль. — Твоя седина на солнце отливает медью. Я тебя не помню рыжим — откуда медь?

Тихонин помолчал; он словно бы ее не слышал и нетерпеливо поглядывал в окно...

«Поверните налево, — в который раз напомнил о себе навигатор, — поверните направо; поверните налево, затем следуйте прямо... До окончания маршрута осталось триста метров».

— Здесь! — произнес Тихонин. — Отель за перекрестком, но еще чуть дальше нам вперед, к парковке: она слева.

Навигатор подтвердил: «Через шестьдесят метров поверните налево. Вы прибыли в конечную точку маршрута».

И световой день подошел к концу.

Они обосновались в номере на третьем этаже и отправились ужинать. Обойдя по длинному кругу темную громаду нежно подсвеченной Голубой мечети, поднялись на открытый верх

четырёхэтажного ресторана, давно облюбованного Тихониным. Сели за столик на краю открытой площадки. Прямо перед ними слабо сияли во тьме купола Голубой мечети и Айя-Софии; на другом краю, за ограждением, на малом отдалении дышал Босфор и словно бы тлела в ночи, в рассеянных огнях подсветки, старая, с угловатыми башнями, крепость, в которой Мария увидела несуществующий каменный мост. Она с трудом воспринимала всё вокруг; ей не хотелось говорить; она до того устала за весь этот огромный, хлопотливый день, что задремала в ожидании султан-кебаба и баклажанного пюре.

— Прости, — сказала она Тихонину. — Пока я добиралась до Чикаго, потом аэропорт, дикая задержка рейса, этот перелет в Стамбул, еще и пересадка, другой мир, в нем — ты... слишком всего много. — Она неуверенно, будто боялась пролить вино, отпила немного каппадокийского и вдруг спросила: — Мне вот интересно: какой ты меня себе представлял? У тебя ведь нет моих фотографий.

— Верно, — согласился Тихонин. — Пока я маялся в аэропорту, я представлял тебя примерно такой, какой и увидел. Какой вижу и сейчас.

— А до аэропорта? Все эти годы? Все эти сорок лет?

— Такой же, как и раньше, ровно такой, и никакой другой. Сожму глаза и вижу тебя перед собой тощей, но с хорошей грудью, вижу твою знаменитую светло-русую косу до самых впадинок под коленками, и ты — в широких, толстых, пол-лица заслоняющих очках... Ты их снимала неожиданно для всех, и открывалось вдруг все твое лицо. Оно было всякий раз как фотовспышка. И глаза твои из-за твоей, ты извини, подслеповатости казались сонными, с наглым таким, восхитительным сонным прищуром; я сразу сошел с ума, когда ты впервые сняла передо мной очки... Ты меня совсем не слушаешь, но это ничего. По-моему, тебе давно пора спать.

Они вернулись в отель. Мария скрылась в своей комнате. Тихонин выволок кресло на широкий балкон и уселся, опустив локоть на перила. Под ним внизу стихала узкая, обычно многолюдная при свете дня, но голая во тьме, старая улица. В окне напротив, столь близком, что казалось, до него можно было достать рукой, кто-то громко говорил по телефону за легкой шторой при неярком свете ночника; разговор прервался, и ночник погас. Тихонин привстал, подался чуть вперед, вытянул голову над перилами и глянул влево — туда, где улица черным ручьем втекала в ночное море: там

помаргивали огни судов, вставших на рейде, но самого моря, что слилось с небом, уже не было видно. Лицо Тихонина гладил медленный и теплый солоноватый ветер. В закоулках вокруг глух шум редких машин. Чайки вскрикивали, как если бы их кто-то тревожил во сне.

Скрипнув, тихо приоткрылась дверь. Показалась Мария в белом гостиничном халате, сказала:

— Ты здесь собрался до утра сидеть? Ты забыл обо мне?

— Думал, ты спишь, — сказал Тихонин.

— Как я могу уснуть, ты сам подумай?.. И хватит тебе стынуть, идем ко мне.